

Собрание сочинений в 10 томах. Том 5. //Правда, Москва, 1977
FB2: , 25 April 2008, version 1.0
UUID: 53079a2d-8208-102b-bf1a-9b9519be70f3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

В тропиках

Содержание

I. НОЧЬ.....	0004
I.....	0004
II.....	0010
II. УТРО.....	0029
I.....	0029
II.....	0047
III.....	0058

**Константин Михайлович
Станюкович
В ТРОПИКАХ**

I. НОЧЬ

I

Среди шепота тропической ночи, полного скакой-то таинственной прелести, почти бесшумно плывет, словно птица с гигантскими крыльями, трехмачтовый паровой военный корвет «Сокол» под всеми парусами, имея бомбрамсели на верхушках своих, немного подавших назад, мачт.

Небольшой, изящных линий, красавец-корвет, на котором находится сто семьдесят матросов, четырнадцать офицеров, доктор и иеромонах с Коневского монастыря, идет с благодатным, вековечным пассатом, направляясь на юг, узлов по семи-восми в час, легко и свободно, с тихим гулом, рассекая воду, рассыпающуюся у носа алмазной пылью, и равномерно слегка покачиваясь на исполинской груди старика-океана. Необыкновенно спокойный и ласковый океан лениво, с нежным рокотом, катит свои бездонные, могучие волны, но не бьет ими сердито бока

чуть-чуть накренившегося «Сокола», а, напротив, кротко облизывает их и словно шепчет морякам, что в этих широтах он не коварен, и его нечего бояться. Широкая серебристая лента, сверкая фосфорическим блеском, стелется за кормой, выделяясь среди чернеющего океана, и исчезает вдали потерянным следом.

А что за дивная тропическая ночь на этом океанском просторе, с мириадами звезд и звездочек, то ярко и весело, то задумчиво и томно мигающих с высоты темного, словно бархатного, купола!

После дневного зноя, мало умеряемого пассатным ветром, с ослепительно жгучим солнцем, висящим в безоблачной бирюзовой выси раскаленно золотистым ядром, необыкновенно легко и привольно дышится в эти ласковые, волшебные тропические ночи, быстро, почти без сумерек, наступающие вслед за закатом солнца и веющие нежной прохладой. Полной грудью жадно глотаешь освежающий, насыщенный озоном, морской воздух и всем существом ощущаешь прелесть этой ночи, испытывая какую-то приподнятость настроения и безотчетный восторг.

Глядя на этот таинственно дремлющий океан, на это, сверкающее брильянтами, небо, прислушиваясь к тихому рокоту волн, точно освобождаешься от обыденной пошлости. Думы становятся возвышенной и смелей, и грезы, неопределенные и беспредельные, как океанская даль, уносят куда-то далеко-далеко...

До полуночи оставалась склянка (полчаса).

В этот час почти все спят на нашем плавучем островке, оторванном от родины, далеко от близких, от милых, и спят наверху, на палубе, так как внизу душно и жарко.

Не спит только вахтенный офицер, молодой мичман Лучицкий, шагающий, весь в белом, взад и вперед по мостику и отрывающийся от мечтательных дум и воспоминаний, чтоб зорко оглядеть горизонт и время от времени крикнуть вполголоса часовым на баке: «Вперед смотреть!»

Не спит, конечно, и вахтенное отделение матросов.

Примостившись поудобнее небольшими кучками у мачт или у пушек, они тихо, словно бы боясь нарушить тишину волшебной но-

чи, «лясничают» между собой про «свои места», которые так далеко отсюда, про Кронштадт, про прежние плавания, про добрых и злых командиров и про корветского боцмана, которого надо бы проучить на берегу, так как он «дерется без всякого рассудка». Некоторые, охваченные теплым дыханием ночи, полудремут сторожкой, матросской дремой, готовые очнуться при звуке командного голоса... А то кто-нибудь из мастеров-сказочников рассказывает тихим и певучим ритмом сказочной речи сказку про Ивана-царевича или Бову-королевича, и несколько человек внимательно слушают.

Так коротается ночная вахта.

В тропиках не грех и «полясничать» и вздремнуть матросу. Ни боцман, ни вахтенный унтер-офицер за это не разразятся потоком той артистической ругани, к которой моряки вообще чувствуют слабость и без которой не могут обойтись. Вахты, слава богу, спокойные, и следовательно можно и вздохнуть после трудного плавания в Немецком море и штормовых дней в Атлантическом океане, на параллели Бискайского залива, где бедный

«Сокол» выдержал-таки изрядную трепку под штормовыми парусами и должен был после нее зайти в Лиссабон, чтоб исправить кое-какие повреждения.

Здесь, в тропиках, матросам легко и привольно. Им не приходится, стоя на вахте, кутаться в свои просмоленные, парусинные дождевые пальтишки, стараясь закрыться от брызг расвирепевших седых волн, с бешенством нападающих через палубу у бака, – не приходится быть постоянно «начеку» у своих снастей, в напряженном ожидании то поворота, то брасопки рей, вследствие зашедшего или отошедшего ветра, то отдачи марса-фаллов.

Их, этих тружеников моря, часто попавших прямо от сохи на океан, не посылают здесь крепить брамсели или брать рифы у марселей, работая на стремительно качающихся реях над океанской бездной, под рев засвежевшего ветра и при громадном волнении, бросающем корвет, словно щепку, с бока на бок и вверх и вниз. Не приходится, купаясь ногами в воде, крепить кливера на бугшприте, зарываящемся в воду.

Подвахтенные, спящие рядами на палубе, могут здесь спать спокойно, под открытым небом. Их не разбудит грозный окрик боцмана: «Пошел все наверх!» Нет. Все это осталось позади, и всего этого еще будет довольно впереди, а пока этот легкий и нежный, вечно дующий в одном и том же направлении, пассат, этот ласковый океан, голубое небо с постоянным солнцем и чудные тропические ночи делают плавание в тропиках восхитительным.

– Эка благодать господня! – шепчет кто-то в одной кучке, приютившейся на шканцах.

– В таких-то местах и плыть, братцы, не страшно, – замечает первогодок, молодой низенький матросик из Вятской губернии.

– А только таких-то местов мало на божьем свете...

– Мало? – спрашивает первогодок.

– И вовсе мало... Вот спустимся книзу, тогда другое дело пойдет...

– Гляди, ребята: звездочка упала. Вон опять падает...

Матросы подняли головы. Кто-то спросил:

– И куда они тепериче упали?

– В окиян, надо быть.

– Никуда не упали. Рассыплются по пути, сторят и шабаш! Вроде быдто ракеты! – авторитетно пояснил марсовой Прохоров.

– Ишь ты... Еще падают...

Матросы задумчиво примолкли и глядели на падающие звезды.

II

За эти три с половиной часа ночной вахты мичман Лучицкий успел вволю намечтаться и надуматься. Дела ему было немного. Только внимательно наблюдай: не нависло ли в далеком сумраке горизонта злое черное облако, грозящее приближением бурного, быстро проносящегося, шквала с проливным тропическим дождем, – чтоб вовремя встретить шквал, убравши минут на пять паруса, – да посматривай в бинокль: не блеснет ли поблизости зеленый или красный огонек судна?

Но ни он, ни сигнальщик, стоящий на мостике с подзорной трубой, не видят ни злое туч, ни судовых огней. Смотрящие вперед с бака двое часовых тоже не видят ничего, что заставило бы их крикнуть.

И вахтенный мичман, вдоволь уже насладившийся красотой ночи, шагает по мостику или, уставший от ходьбы, прислонится к поручням и думает и мечтает, как только может мечтать здоровый, жизнерадостный, полный добрых намерений, молодой человек двадцати двух лет, для которого жизнь – еще книга с белыми страницами, несомненно прелестными. О чем только ни передумал он в эту вахту от восьми часов! Он думал о том, как хорошо и весело на свете, как обаятельна эта ночь, и как жаль, что красавица Леночка в Петербурге и не может любоваться такою прелестною ночью вместе с ним... Что-то она теперь делает, милая? Думал он, что как ни хорошо теперь, а впереди станет еще лучше, светлее и радостнее, когда он как-нибудь отличится и, молодым капитан-лейтенантом, будет командовать таким же щегольским корветом, как «Сокол», и будет таким же добрым и гуманным, как и капитан «Сокола», этот благородный человек, никогда не ударивший матроса и запретивший у себя на корвете телесные наказания, несмотря на то, что они не отменены... Превосходный этот Василий Федоро-

вич... С таким капитаном отлично плавать...

«Отлично... Превосходный человек... Отлично!» – мысленно повторял мичман, готовый сейчас же чем-нибудь доказать свою преданность капитану, которого действительно любили матросы и молодые офицеры, сочувствовавшие его гуманным идеям.

«Может ли он однако быть таким чудесным, как Василий Федорович?»

И мичман анализировал себя: свой характер, свои недостатки и слабости. Ах, как много в нем дурного, мелкого, эгоистичного! Он непременно должен переработать себя, читать больше, сделаться добрее, умнее и снисходительнее в своих суждениях о других людях. С завтрашнего же дня он будет вести дневник и добросовестно записывать в нем все свои помыслы и дела... Это приучит к самовоспитанию.

Но все эти думы и мечты внезапно исчезают, и мысли молодого человека на некоторое время останавливаются исключительно на смуглом молодом женском личике с парой карих глаз, на которых еще блестят слезы, – с нежными щечками и кругленьким подбородком.

ком с ямочкой. «Ах, эта славная Леночка!» И образ ее, под обаянием нежной ночи и звездного неба, кажется ему еще милей и привлекательней здесь, на океане, вдали от Петербурга.

Он вспоминает, и с большой экспансивностью, свое последнее свидание перед разлукой, восемь месяцев тому назад, с этой хорошенькой Леночкой, его троюродной сестрой, с которой они что-то около года вели горячие и необыкновенно отвлеченные споры, читали умные книжки и прикидывались «добрыми друзьями», хотя втайне были влюблены друг в друга, стыдясь однако в этом признаться. До самого дня разлуки оба они храбрились, но когда, накануне ухода корвета в море, Вася Лучицкий пришел проститься и застал Леночку в гостиной одну (отец, адмирал, после обеда почивал, а адмиральша куда-то ушла), – оба молодые люди вдруг присмирели и затихли, словно обиженные дети...

Он припомнил, – и не первый это раз, – как Леночка была грустна, как начала было рассказывать о прочитанном томе Шлоссера, но внезапно смолкла, губы сложились в гримас-

ку, и слезы потекли из ее глаз. А дальше?.. Дальше этот первый поцелуй, долгий и нежный, которым они обменялись, поглядывая однако на двери, после неожиданно слетевших с губ взаимных признаний, эти слезы счастья на просветлевшем, зардевшемся лице девушки, обоюдные клятвы не разлюбить друг друга, эту маленькую, тоненькую ручку, с бирюзой на мизинце, которую он осыпал поцелуями и орошал слезами...

«И зачем пришла тогда эта женщина!» – досадуя даже задним числом, припомнил молодой человек, имевший дерзость так называть адмиральшу, мать Леночки и свою двоюродную тетку; вероятно, потому, что после появления «этой женщины» в гостиной вспомнить что-либо особенно приятное было трудно. Напротив, скорее осталось одно неприятное воспоминание, ввиду того, что адмиральша, видимо недовольная, что застала молодых людей одних и несколько смущенных, не оставляла Леночки в течение целого вечера, далеко не по-родственному была суха с племянником и, в самый трогательный момент прощания, довольно ядовито попросила его

привезти портреты красавиц во всех портах, где Васенька влюбится, причем выразила, не без презрительной улыбки, надежду, что коллекция будет обширная.

Вспоминая о Леночке, молодой мичман довольно самонадеянно решил в эту минуту, что его любовь к Леночке, несмотря на карканья адмиральши, выдержит всякие испытания и что, возвратившись через три года из плавания, и, конечно, лейтенантом, он тотчас же полетит к ней в Моховую, 15, и непременно женится на Леночке, хотя бы «эта женщина» была и против. Адмирал?.. Но кто же не знал в доме, не исключая даже вестового Егорки, что адмирал был эхом адмиральши... Что ж! Они повенчаются и без согласия родителей. Бог с ним, приданым. Он и сам прикопит в плавании тысчонку, что ли, на первое обзаведение. Леночка ведь не гонится за обстановкой, – недаром они вместе читали хорошие книжки...

Так мечтал Лучицкий, не предвидя, разумеется, что скоро, очень даже скоро он забудет эти «вешние грезы» любви, прелестный образ Леночки затмится не менее, если не бо-

лее прелестными образами других избранниц и затем останется одним лишь благодарным воспоминанием – и то под старость – о первой чистой и непорочной любви. Не подозревал он, что и Леночкины клятвы окажутся такими же легкомысленными, как и его, и что после двух ее посланий, смоченных слезами и нефранкированных, он месяца через четыре получит в Сан-Франциско заказное, вполне оплаченное письмо от самой адмиральши, в котором «эта женщина» сообщит, что Леночка вышла замуж за капитана 1-го ранга Кобылкина и очень счастлива, чего от души вместе с теткой и дядей желает и Васе.

Да и вообще, мечтая в эту восхитительную тропическую ночь в ноябре 1865 года, под 100 северной широты и под 200 западной долготы, мог ли молодой мичман хоть на минуту усомниться, что не сбудутся его мечты, и смел ли он предполагать, что жизнь жестоко впоследствии обманет его даже самые скромные надежды!

Устроив свою личную жизнь счастливым браком с Леночкой, мичман вспомнил, что пора отдаться действительности, и потому

добросовестно оглядел в бинокль горизонт справа и слева, и впереди и сзади, посмотрел на компас: на румбе ли правят рулевые, и, больше для очистки совести, чем по необходимости, крикнул негромко своим красивым баритоном, который не одна Леночка называла «бархатным», когда Лучицкий пел романсы:

– На баке! Вперед смотреть!

– Есть! Смотрим! – тотчас же отвечали два голоса с бака.

Лучицкий устал и от ходьбы и от мечтаний – нельзя же, в самом деле, мечтать без конца, хотя бы и об избраннице сердца, и в чудную тропическую ночь, и даже мичману. К концу вахты мечтательное настроение прошло, сменившись сильным влечением к койке. Растянуться бы да и заснуть! А эта последняя склянка перед сменой, казалось, тянется дьявольски долго (всем стоящим на ночных вахтах обязательно так кажется).

Молодой мичман потянулся, сладко зевнул, вспомнил, что на вахте офицеру заснуть – преступление, и, чтобы прогнать сон, стал снова думать о Леночке: старался пред-

ставить себе ее грациозную, стройную фигуру, ее обыкновенно привлекательную улыбку, открывающую ряд маленьких, ровных, жемчужных зубов, старался вспомнить ее голос, ее речи, но странное дело – все эти мысли как-то путались в его голове, обрывались, мешались с другими, и образ прелестной Леночки совершенно неожиданно явился с рыжими усами и рыжими бакенбардами в виде котлет, поразительно напомилавший далеко не прелестное лицо начальника первой вахты, лейтенанта Максима Петровича Невзорова, который должен был вступить на вахту с полуночи до четырех часов утра, сменив Лучицкого. Паруса вдруг куда-то исчезли из глаз, и вместо океана он увидел какую-то освещенную залу, где пол не качается под ногами, и все ходят, не расставляя ног колесом... И тут же Максим Петрович, и с ним какая-то дама, и... Мичман очнулся, задремавши стоя минуту-другую... Фу, черт возьми! Хорошо, что никто не видал, что он, считавшийся исправным офицером, вдруг задремал на вахте.

А эта тихая, нежная ночь так и веет сном, и не хочется расстаться с поручнями, на кото-

рые так приятно облокотиться и, надвинув на глаза фуражку, подремать еще минуточку, одну минуточку. Ах как хочется спать в эти последние четверть часа перед сменой. Чего бы только ни отдал мичман за возможность немедленно раздеться и юркнуть в койку!.. Покопайся он в своей совести, то, пожалуй, готов был бы в эту критическую минуту отказаться и от Леночки, представь ему на выбор: бодрствовать или спать.

Признаться, только самолюбивая жилка моряка заставила Лучицкого отойти от этих соблазнительных поручней, грозивших быть для мичмана тем же, чем была Капуя для Аннибала, и решительно зашагать по мостику, чтобы побороть неодолимое желание.

И на ходу веки так и слипаются.

– Сигнальщик!

– А... о... Есть! – порывисто откликнулся тоже вздремнувший сигнальщик.

– Поди, брат, узнай, разбудили ли лейтенанта Невзорова?

Через минуту сигнальщик вернулся и сказал:

– Никак нет, ваше благородие, еще не побу-

дили.

– Почему?

– Вестовой ихний Антошка сказывал, что лейтенант Невзоров приказали будить за пять минут. Ни на секунд раньше!

Лучицкий уже заранее сердится, почему-то предполагая, что Невзоров, всегда аккуратный, не успеет одеться в пять минут и опоздает сменить его вовремя. Опоздание смены с вахты, хотя бы на минуту-другую, считается у моряков почти что преступлением, и боже сохрани совершить его. В крайнем случае надо предупредить, если кто-нибудь рассчитывает опоздать на вахту, особенно на ночную.

«Это ведь свинство со стороны Невзорова! Воображает, что старый лейтенант, так я стерплю. Черта с два! Опоздай он хоть на минуту – я ему пропою!»

Так думает молодой мичман и, забывши свое торжественное обещание быть снисходительным в суждении о людях, чувствует внезапный прилив злости к Невзорову и за то, что он «дантист» – бьет матросов, не обращая внимания на просьбы капитана не драться, и ругается, «как боцман», и за то, что

Невзоров исповедует самые ретроградные взгляды, и за то, что он циник, но главным образом за то, что он может опоздать.

Лучицкий подходит к освещенному внутри компасу и взглядывает на свои часы. Серебряная его луковица показывает, что до полуночи остается еще целых десять минут. Ужасно много!

И, не доверяя показанию своих часов, вчера только проверенных по хронометру, он посылает сигнальщика справиться: как время на часах в кают-компани?

– Без восьми, ваше благородие! – докладывает, вернувшись, сигнальщик.

– Так скажи вестовому, чтобы он разбудил лейтенанта Невзорова! – после некоторого колебания приказывает мичман, для которого теперь каждая минута казалась вечностью.

Сигнальщик, привыкший к этим гонкам господ офицеров перед концом вахт, спустился вниз и в кают-компани, слабо освещенной чуть-чуть покачивающейся над большим столом висячей лампой, увидел вестового Антошку, сторожившего минуты на больших столовых часах, прибитых над привинчен-

НЫМ К ПОЛУ ПИАНИНО.

– Антошка! – окликнул шепотом сигнальщик. – Вахтенный приказал тебе побудить барина.

Заспанный белобрысый молодой вестовой с большими, добрыми, навывкате, глазами, обернулся и так же тихо проговорил:

– Буди, братец, сам, коли хочешь, чтоб он запустил тебе в рожу щиблеткой, а я не согласен. Нешто не знаешь, какой он со сна сердитый... Чуть ежели раньше как за пять минут, беспременно отчешет... А мичману, что ли, не терпится? – прибавил, усмехнувшись, Антошка.

– То-то не терпится... Гоняет... Даве уже заклевал носом... Ночь-то сонная.

И, выдержав паузу, сигнальщик промолвил, еще понижая голос:

– А что, Антошка, не одолжишь ли окурка?

Антошка достал из кармана штанов два маленькие окурка папирос и подал сигнальщику.

– Вот спасибо, брат. Ужо покурю, а то совсем махорки мало осталось... Раскурил...

Часовая стрелка передвинулась, показы-

вая без пяти двенадцать, и Антошка, торопливо ступая своими босыми ногами по клеенке, вошел в открытую настежь каюту Невзорова, откуда раздавался громкий храп, и принялся будить лейтенанта, а сигнальщик вернулся наверх и доложил:

– Побудили, ваше благородие.

– Встает?

– Должно, встают.

Наконец с бака, среди тишины, раздается восемь мерных ударов колокола, радостно отзывающихся в ушах молодого мичмана, и с последним ударом на мостик поднимается плотная и приземистая фигура лейтенанта Невзорова в белом расстегнутом кителе, надетом поверх ночной рубашки с раскрытым воротом, в башмаках на босых ногах, в широких штанах и фуражке совсем почти на затылке.

В то же время боцман Артюхин, ставши у грот-мачты, протяжно свистнул в дудку и вслед за тем зычным голосом крикнул на всю палубу:

– Второе отделение на вахту! Вставай... Живо!

– Эка ревет, дьявол! – сердито прошептал

какой-то матрос, проснувшийся от боцманского окрика, и повернулся на другой бок.

Среди лежащих вповалку на палубе матросов началось движение. Те, кому приходилось вступать на вахту, потягивались, зевая и крестясь, поднимались со своих тощих тюфячков и, торопливо натянув штаны, выходили на шканцы, на проверку. Разбуженные боцманом другие матросы, оглядевшись во круг, снова засыпали.

– Ну, что, Василий Васильич, очень спать хочется? – добродушно говорил своим низким баском Невзоров, поднявшись на мостик и сладко позевывая...

И у Лучицкого тотчас же исчезла злоба против Невзорова, который, несмотря на свое «ретроградство» и скверную привычку драться, был все-таки добрым, хорошим товарищем и лихим, знающим свое дело моряком.

– Отчаянно, Максим Петрович, – отвечал молодой мичман. – В начале вахты еще ничего...

– Мечтали, видно, о какой-нибудь дамочке в Кронштадте? – перебил, засмеявшись скверным, циничным смехом, Невзоров и приба-

вил: – Вот в Рио-Жанейро придем... Там, я вам скажу, вы скоро влюбитесь в какую-нибудь бразильскую дамочку и забудете свою зазнобу, коли есть... Ведь, наверно, есть, а?.. Ну и жарко ж спать в каюте... С завтрашнего дня буду спать наверху... Прохладнее...

– И ночи какие очаровательные... Погляди-те-ка, Максим Петрович, небо-то какое!

– А ну его к черту, небо!.. Это вы только о небесах думаете и небесами восхищаетесь... Однако сдавайте-ка вахту да ступайте спать...

Мичман сказал, какой курс, сколько ходу, какие стоят паруса и, пожав руку Невзорова, пошел на ют и, раздевшись, вспрыгнул в подвешенную койку и скоро заснул.

А Невзоров спустился на палубу, обошел корвет, проверил вахтенных, часовых на баке и, поднявшись на мостик, зашагал медленными шагами и вполне мечтал о Рио-Жанейро, о бразилианках и о вкусных обедах и ужинах на берегу и, разумеется, с хорошими винами. Но вдруг вспомнил и об одной молодой вдове в Петербурге, которой он два раза делал предложение и два раза получал отказ. Вспомнил – и задумался. Вероятно, и на Максима

Петровича подействовала прелесть тропической ночи и навеяла на него, помимо его воли, задумчивое настроение, не имеющее ничего общего ни с бразилианками, ни с обедами и ужинами, ни со службой. Он, разумеется, никому бы не сознался, что в эту ночь и он поглядывал на звезды, сердито крякал, испытывая какое-то странное чувство томления и грусти, и думал более, чем следовало бы такому цинику, каким он представлялся всем на корвете, говоря, что не понимает любви, длящейся более недели, – об этой высокой и полной, цветущей блондинке, лет тридцати, с холодными серыми глазами, румяными щеками и роскошным бюстом, которую он и после двух отказов не может забыть и которой он, по секрету от всех, написал уже два любовные письма, оставшиеся без ответа. А если бы она ответила? Подала бы хоть тень надежды? Он готов был бы ждать год, два, три до той счастливой минуты, когда она согласится быть его другом и женой...

Увы! Он не догадывался, что эта полная, цветущая вдова – одна из тех женских бесстрастных натур, которые заботятся лишь о

себе, о своем здоровье, о своем спокойствии... За что она продаст свою свободу обеспеченной вдовы на полубедное существование вдвоем!? Какая он партия! Да и к чему ей замуж?

Но Максим Петрович, проведший большую часть своей жизни в плаваниях и знавший женщин лишь по мимолетным знакомствам, разумеется, не понимал своего идола и, влюбленный, как мальчишка, наделял его всеми совершенствами и приписывал отказы вдовушки исключительно тому, что он ей не нравится.

– Эка что за чепуха сегодня лезет в голову! – досадливо проговорил вслух Максим Петрович и решил про себя, что давно пора бросить всю эту «канитель» и навсегда забыть эту женщину.

Казалось, он уж забывал ее, предаваясь, при съездах на берег, широкому разгулу, а вот теперь, как нарочно, снова вспомнил и расчувствовался, как какой-нибудь мичманенок. «Срам, Максим Петрович! Ну ее к черту, эту „каменную вдову“! Пусть себе маринуется впрок!»

– Сигнальщик! Дай-ка трубу! – сердито закончил вслух лейтенант.

А ночь уже начинала бледнеть, и тускнеющие звезды мигали все слабее и слабее. Океан засерел, переливаясь с тихим гулом своими волнами. Горизонт раздвинулся, и на самом краю его виднелось белеющее пятно парусов какого-то судна. Наступал предрасветный сумрак, повеяло острой прохладой, и чудная тропическая ночь, после недолгой борьбы, медленно угасала, словно пугаясь загорающегося на востоке багрянца, предвещающего восход солнца.

II. УТРО

I

Горизонт на востоке разгорался все ярче и ярче в лучезарном блеске громадного зари, сверкая золотом и багрянцем. Небо там горело в переливах и сочетаниях самых волшебных ярких цветов, подернутое выше, над горизонтом, нежной золотисто-розовой дымкой. А на противоположной его стороне еще трепетал в агонии предрассветный сумрак, и еле мигали едва заметные редкие звезды.

Наконец солнце обнажилось от своих пурпурных одежд и медленно, будто нехотя, выплыло из-под горизонта, жгучее и ослепительное. И мгновенно все вокруг осветилось, ожило, точно пробудившись от сна, и сбросило с себя таинственность ночи, приняв прозрачную ясность и определенность.

На далекое, видимое глазом, пространство синел океан, окаймленный со всех сторон голубыми рамками высокого бирюзового купола, по которому кое-где носились маленькие

белоснежные перистые облачка прихотливых узоров. Они нагоняли друг друга, соединялись, вновь расходились и исчезали, словно тая в воздушном эфире. По-прежнему веселый и ласковый, океан почти бесшумно, с тихим однообразным рокотом катил свои могучие волны с серебристыми вершушками, слегка и бережно покачивая маленький корвет. Океан почти пуст, куда ни взгляни. Только справа белеют, резко выделяясь в прозрачном воздухе, паруса трехмачтового судна, судя по рангоуту – «купца», идущего одним курсом с «Соколом», который заметно нагоняет своего попутчика и, вероятно, скоро, по выражению моряков, «покажет ему свои пятки». Высоко рея в воздухе, быстро проносится «фрегат», направляясь наперерез к далекому берегу Америки; неожиданно спустится на волны стайка белоснежных альбатросов, покачается на воде, схватит добычу и, расправив свои громадные крылья, взвьется наверх и исчезнет из глаз; где-нибудь вблизи шумно пустит фонтан разыгравшийся кит, и снова безмолвно и пустынно на безбрежной дали океана.

Это чудное, радостное утро, дышащее бод-

рящей свежестью, весело заглянуло и на корвет и залило его блеском света. И все – людские фигуры, мачты, паруса, снасти, – что в таинственном мраке казалось чем-то смутным, неопределенно-фантастическим и большим, приняло теперь резкую отчетливость форм и очертаний, словно избавившись от волшебных чар дивной тропической ночи. И смолкли сказки, и отлетели грезы у людей, которых утро застало бодрствующими.

Надувшиеся паруса сразу побелели, приняв свои настоящие размеры, и паутина снастей, отделявшихся одна от другой, резко вырисовывалась по бокам мачт с их марсами и салингами. Закрепленные по-походному по обоим бортам орудия, черные и внушительные на своих станках, выделялись на общем фоне палубы, почти сплошь покрытой спящими людьми. На юте, в подвешенных койках, спали офицеры, а от шканцев и до бака, занимая середину судна, лежали на разостланных тюфяках, в самых разнообразных позах, спящие подвахтенные матросы, обвеваемые нежным дыханием пассата. Храп раздается по всему корвету. Поклевывавшие носами

вахтенные матросы подбодрились, стоя у своих снастей или дежуря на марсах, и многие приветствовали восход солнца крестным знаменем. Не без зависти поглядывая на спящих товарищей, они осторожно, чтобы не наступить на кого-нибудь, по очереди пробирались на бак – выкурить трубочку махорки у кадки с водой и перекинуться словом-другим о своих матросских делишках. Заложив назад свои жилистые, здоровенные, просмоленные руки, вид которых внушает почтительное уважение матросам-«первогодкам», боцман Андреев, Артемий Кузьмич, как зовут его матросы, низенький, крепкий, скуластый человек лет под пятьдесят с черными, заседевшими баками и красным обветрившимся лицом, ходит взад и вперед по баку с обычным своим суровым начальственным видом, твердо и цепко ступая по палубе своими мускулистыми босыми ногами, и словно уже предвкушает близость утренней чистки и «убирки» судна, во время которой – благо капитан спит – он даст полную волю своей ругательной импровизации, а подчас и рукам, если подвернется какой-нибудь из молодых матросов, ко-

торый, по мнению боцмана, еще требует «выучки»; преодолевая невольно охватывающую дремоту, только что вступивший на вахту с 4 часов утра, второй лейтенант жмурит сонные глаза, равнодушный к чудному утру и окружающей прелести. Ну ее к богу! Он бы с восторгом поспал еще часок-другой. И лейтенант, заспанный, еще не совсем, казалось, очнувшийся, тоже завистливо посматривает на ют, где счастливцы-товарищи безмятежно спят и будут еще спать до подъема флага.

Проходит склянка, и сонное состояние исчезает. Лейтенант всем существом наслаждается прелестью раннего утра и полной грудью вдыхает насыщенный озоном воздух. Вместе с тем он проникается и важностью лежащих на нем обязанностей вахтенного начальника и, подняв голову, зорко и внимательно оглядывает паруса. Грот-марсель не дотянут до места, и лиселя с правой чуть-чуть «полощат». Срам! Что подумали бы о нем капитан и старший офицер, если б увидели такое безобразие? «И хорош Невзоров, нечего сказать, а еще считается настоящим „морским волком“! Сдал вахту и не заметил, что у

него неисправности!» – не без злорадства подумал второй лейтенант, тоже имевший претензию (и небезосновательную) на звание лишнего морского офицера. Спустившись с мостика, он прошел на бак, чтоб осмотреть, хорошо ли стоят паруса на фок-мачте и кливера на носу.

На баке его встретил вахтенный юный гардемарин, сонный и румяный, а боцман, уже заметивший, что брам-рея плохо обрасоплена, и потому угол брамселя «играет», и что фор-стенъга-стаксель «мотается зря», сконфуженно нахмурился, когда вахтенный начальник, остановившись и расставив фертом ноги, задрал назад голову.

– Господин Наумов, полюбуйтесь: фор-брам-рея не по ветру... Фор-стенъга-стаксель не вытянут... А ты чего смотришь, Андреев? А еще боцман! – меняя тон, проговорил вахтенный офицер, строго обращаясь к боцману.

– В темноте не видать было, ваше благородие.

– В темноте не видать! Уж давно светло, – ворчливо проговорил лейтенант, сознавая в душе, что и он целую склянку «проморгал»

эти неисправности, и, уходя, приказал гардемарину обрасопить, как следует, брам-рею и натянуть стаксель.

И, поднявшись на мостик, лейтенант вполголоса, чтобы своим звучным, крикливым тенорком не разбудить людей, скомандовал выправить лиселя с правой и вытянуть до места грот-марса-шкот. И когда все было исправлено и дотянуто до места, он с чувством удовлетворения взглянул на паруса, выслушал доклад сигнальщика, что лаг показал семь с половиной узлов хода, и, оживившийся, не чувствуя более желания соснуть, бодро заходил по мостику, посматривая по временам в бинокль на «купца», короткий и пузатый корпус которого заставлял предполагать в нем голландца. И действительно, когда корвет почти нагнал его, на «купце» взвился голландский флаг и тотчас же был опущен. То же самое сделали и на «Соколе», ответив на обычную вежливость при встречах судов.

Солнце быстро поднималось кверху. На баке пробили две склянки – пять часов, когда обыкновенно встает команда. И с последним ударом колокола боцман уже был у мостика

и, прикладывая растопыренную свою руку к околышу надетой на затылок фуражки, спрашивал:

– Прикажете будить команду, ваше благородие?

– Буди.

Получив разрешение, Андреев вышел на середину корвета и, просвистав в дудку долгим, протяжным свистом, гаркнул во всю силу своего зычного голоса:

– Вставать! Койки убирать! Живо!

– Эка, подлец, как орет! – проворчал во сне кто-то из офицеров, спящих на юте, и, позвав сигнальщика, велел кликнуть своего вестового, чтобы перебраться в каюту и там досыпать. Примеру этому последовали и остальные офицеры, расположившиеся на юте, зная очень хорошо, что во время утренней уборки «медная глотка» боцмана в состоянии разбудить мертвого.

Между тем разбуженные боцманским окриком матросы просыпались, будили соседей и, протирая глаза, зевая и крестясь, быстро вставали и, складывая подушку, простыни и одеяло в парусинные койки, сворачивали

их аккуратными кульками, перевязывая крест-накрест черными веревочными лентами. Прошло не более пяти минут, и вся палуба была свободна. Раздалась команда класть койки, и матросы, рассыпавшись, словно белые муравьи, по бортам, укладывали свои красиво свернутые кульки в бортовые гнезда, в то время как несколько человек выравнивали их; скоро они красовались по обоим бортам, белые как снег и выровненные на удивление, лаская самый требовательный «морской глаз».

После десятка минут скорого матросского умывания и прически, вся команда, в своих рабочих, не особенно чистых рубахах, становится во фронт и, обнажив головы, подхватывает слова утренней молитвы, начатой матросом-запевалой, обладавшим превосходным баритоном. И это молитвенное пение ста семидесяти человек звучит как-то торжественно среди океана, при блеске этого чудного тропического утра, далеко-далеко от родины, на палубе корвета, который кажется совсем крошечной скорлупкой на этой беспредельной водяной пустыне, спокойной и ласковой

здесь, но грозной и подчас бешеной в других местах, где с ее яростью уже познакомился корвет и снова не раз испытает ее, миновав благодатные тропики. И, словно чувствуя это, матросы, особенно старые, побывавшие в морских переделках, с особенным чувством поют молитву, серьезные и сосредоточенные, осеняя свои загорелые лица истовыми и широкими крестными знаменьями, как будто оправдывая поговорку: «кто в море не бывал, тот богу не маливался».

Звуки молитвы замерли, и матросы разошлись, чтобы позавтракать размазней с сухарями и выпить чаю, после чего на корвете началась та ежедневная педантическая уборка и тщательная чистка, которая является на военных судах предметом особой заботливости и каким-то священным культом. Под аккомпанемент поощрительных словечек боцманов и унтер-офицеров, матросы, вооруженные камнями, скребками, голиками и песком, с засученными рукавами и поднятыми до колен штанами, рассеялись по палубе и начали ее тереть песком и скоблить камнем, мести швабрами и голиками, окачивая затем водой

из брандспойтов и из парусинных ведер, которые то и дело опускали за борт. Другие в то же время мыли борты, предварительно их намылив, и затем вытирали щетками. Везде, и наверху, и в жилой палубе, и еще ниже: в машинном отделении и трюмах, мыли, чистили, скребли и скоблили. Всюду обильно лилась вода и гуляли швабры. Когда наконец корвет был вымыт как следует, во всех своих закоулках, приступили к так называемой на матросском жаргоне «убирке» и, надо признаться, убирали корвет едва ли не старательнее и усерднее, чем убирают какую-нибудь молодую красавицу-даму, отправляющуюся на бал и мечтающую затмить всех своих соперниц. Прибирали и подвешивали бухты снастей, наводили глянец на орудия и на медь на поручнях, люках, компасе, кнехтах, словом, не оставляя в покое ни одного предмета, который только было можно вычистить. Повсюду в ловких матросских руках, желтых от толченого кирпича, мелькали суконки, тряпки, пемза, и повсюду раздавался осипший от брани, но все еще зычный густой бас боцмана Андреева. Впрочем, справедли-

вость требует заметить, что боцман Андреев, вообще человек очень добрый и больше напускавший на себя строгость, ругался главным образом для соблюдения своего достоинства. Нельзя же – боцман! И какой же был бы он боцман в старые времена, если б не ругался так, как только могут ругаться боцмана, щеголявшие перед матросами неистощимостью фантазии и неожиданностью эпитетов!

Старший офицер, высокий, длинный и худощавый человек, лет около сорока, с серьезным и флегматическим на вид лицом, поднялся одновременно с командой и давно уже бродит по корвету, не спеша ступая своими длинными ногами, и появляется то тут, то там, зорко и молчаливо наблюдая за чисткой и уборкой судна, отдавая приказания боцману о дневных работах или подшкиперу насчет починки старых парусов и старого такелажа.

По званию своему старшего офицера, помощник и правая рука капитана, он несет свою трудную, полную постоянных забот, службу с каким-то суровым спокойствием рыцаря долга, никогда не жалуясь, не кипятясь

без толку, всегда молчаливый и лаконичный. Педант, как почти все старшие офицеры, самолюбивый и до крайности щепетильный во всем, что касалось корвета, он заботился о нем, о его чистоте, порядке и великолепии, словно мать о ребенке. Он серьезно сокрушался, если на «Соколе» ставили или крепили паруса секундами двумя-тремя позже, чем на другом военном судне, словом – ему хотелось, чтобы «Сокол» во всем был первым. Он был требователен по службе и настойчив, но не «скрипел», как говорят матросы про начальников, любящих донимать простого человека «жалкими» словами, и матросы, звавшие старшего офицера между собой «журавлем», находили, что он, хоть и любит строгость, но ничего себе, «справедливый журавль» и зря человека не обидит. Однако побаивались его – такой уж серьезный и внушительный вид был у Степана Степановича, несмотря на то, что он никогда не прибегал к телесным наказаниям и редко, очень редко дрался.

Уже восьмой час. Корвет совсем прибран. Старший офицер обошел его, заглянув во все

закоулки, и все нашел в полном порядке. Все сияло блеском и чистотой. Даже бык, последний из четырех быков, взятых в Порто-Гранде, стоял в своем стойле вычищенный, с лоснящейся шерстью, и спокойно жевал сено, не ожидая, конечно, что на днях его убьют. Клетки с курами и утками и самодельный хлев, в котором хрюкали две свиньи, – все это будущие жертвы для капитанского и кают-компанейского стола, – были заботливо убраны, и живущие в них даже обкачены, по матросскому усердию, водой. Не мешает, мол, и им помыться! Только на юте Степан Степанович слегка нахмурился, заметив на безукоризненно белой палубе маленькое, едва заметное пятнышко, и, подозвав ютового унтер-офицера, проговорил, указывая на пятно своим длинным и костлявым пальцем:

– Это что?

– Пятно, ваше благородие, – отвечал сконфуженно унтер-офицер, – не отходит.

– Выскоблить. Должно отойти! – заметил старший офицер и поднялся на мостик.

Матросы, уже переодетые в чистые рубахи, толпятся на баке у кадки с водой – этом глав-

ном центре матросского клуба – и, в ожидании подъема флага и начала разных дневных работ и учений, следующих по расписанию, оживленно беседуют между собой. Нередко слышится смех. Лица у всех довольные и веселые. Видно, что люди не забиты и не загнаны.

– И долго нам так плыть, братцы, по-хорошему, как у Христа за пазухой? – спрашивал низенький белокурый молодой матросик, с большими серыми глазами на необыкновенно добродушном и симпатичном лице, свежем и румяном, усеянном веснушками, – в первый раз, прямо от сохи, попавший в «дальнюю», как называют матросы кругосветные плавания.

– А ты как об этом полагаешь? Небось, хорошо так-то плавать? Да только шалишь, брат. Таких благодатных мест у господ немного! – заметил кто-то в ответ.

– Ден двадцать! – авторитетно заговорил «Егорыч», плотный и приземистый пожилой баковой, лихой матрос с медной серьгой в ухе, пользовавшийся общим уважением команды, обращаясь к «первогодку» и своему

земляку, которому покровительствовал.

И, сделав несколько затяжек из своей маленькой трубочки, продолжал:

– А там, братец ты мой, спустимся совсем книзу, а отсюда, значит, повернем в Индейский океан. Ну, там... известно, другое дело. Там настояще узнаешь, каково матросское звание и каков есть океан. Не приведи бог какие там «штурмы» бывают! – прибавил Егорыч, ходивший уже во второй раз в дальнее плавание.

– Страшно? – с наивным простодушием спросил молодой матросик.

– Всего увидишь. А что страшно, так не надо бояться, и не будет страшно. Бойся не бойся, а все равно никуда не уйдешь с «конверта». Кругом вода! – промолвил Егорыч с улыбкой, указывая своей шершавой, просмоленной жилистой рукой на океан.

– Дда, отсюда не убежишь, брат! – рассмеялся один из присутствующих.

– К акулам разве... Живо сожрет, подлая... Даве утром шнырила, шельма, около борта... Страсть какая большая.

– А ходили мы тогда, братцы, – продолжал

Егорыч, обращаясь ко всем, – на клипере «Голубчике», слышали про «Голубчика»? Так как зашли мы в Индейский окян, этак ден через пять, нас прихватила штурма, а опосля ураган, и думали: всем нам шабаш, придется господу богу отдавать душу... Уж чистые рубахи собирались одевать, чтобы на тот свет, значит, как следовает явиться. Однако господь вызволил... Один только марсовой утонул – царство ему небесное! Ну, да и капитан был у нас отчаянный – может, слышали Алексея Алексеевича Ящурова, в адмиралы теперь вышел? Форменный, прямо сказать, был капитан. И дело свое знал и с матросом был добер на редкость, вроде нашего командира. Одно слово – душевный человек... Видно, господь нас тогда пожалел за евойную доброту к матросам... А то совсем собрались было тонуть, братцы... Даже и капитан наш, уж на что бесстрашный, и тот призадумался...

Егорыч замолчал и, выбив золу из трубки, сунул ее в карман штанов и хотел уходить, как несколько голосов остановили его:

– Да ты куда, Егорыч?.. Ты сказывай, как, мол, вы штурмовали...

– Объясни толком, как это вас бог спас, а то раззадорил только.

Но особенно, по-видимому, был заинтересован молодой матросик. Взволнованным голосом, в котором слышались молящие нотки, он проговорил:

– Нет уж, уважь, Егорыч... Расскажи...

– Да что рассказывать-то? Известно, всего в море бывает... На то и матросы, – промолвил, как бы не желая рассказывать, Егорыч.

Однако остался и, откашлявшись, начал рассказ.

Все притихли.

— Шли это мы в те поры на «Голубчике» с мыса Надежного [1] на Яву остров, там город такой есть, Батавия, и с первых же ден, как вышли мы с мыса, стало, братцы мои, свежеть, и что дальше, то больше... Ну, мы, как следовает, марсели в четыре рифа, думем себе с попутным ветром... «Голубчик» был крепкий... Поскрипывает только, бежит себе с горы на гору да раскачивается... Люки, известно дело, задраены наглухо... Ничего себе, улепетываем от волны... А волна, прямо сказать, была здоровая. Как взглянешь назад, так и кажется, что вот и захлестнет совсем сзади эта самая водяная гора. Спервоначала было страшно, однако вскорости привыкли, потому как эта гора стеной за кормой станет, в тот же секунд уж «Голубчик» по другой волне ровно летит в пропасть, и корма, значит, опять на горе, а нос взроет воду, так что бушприт весь уйдет, и снова – ай-да! – так и взлетит на горку... Ловок он был, клиперок-то наш, так и прыгал... Ну, известно, на баке не стой, того и гляди смочет... Стоим на вахте и

все к середине жмемся...

– Ишь ты... Совсем беда! – вырвалось невольное восклицание у взволнованного молодого матросика, слушавшего рассказ с напряженным вниманием.

– Глупый! – добродушно усмехаясь, продолжал Егорыч, – самая-то беда была впереди, а тогда еще никакой большой беды не было. Судно крепкое, доброе, только рулевые не плошай и держи в разрез волны, чтобы она боком не захлестнула... И у нас, значит, никакой опаски. Рассчитываем: стихнет, мол, погода, не век же ей быть, и опять камбуз разведут, варка будет, а то солонинка да сухари; ну и этой подлой мокроты не станет – обсушимся... Простоишь вахту, так весь мокрый, ровно утка, спустишься вниз да так мокрый и в койку – где уж тут переодеваться, того и гляди лбом стукнешься, качка – страсть! Ну, и опять же, видим, и начальство не робеет – так нам чего робеть. Стоит это наш командир Алексей Алексеич на мостике в кожане своем да в зюйдвестке, спокойный такой, бесстрашный, да только рулевым командует, как править; а у штурвала стояли двое коренных рулевых да

четверо подручных... Ловко правили... В те дни командир бессменно почти наверху находился, никому, значит, в такую погоду не доверял... Днем только на часок-другой спустится вниз, к себе в каюту, а за себя оставит старшего офицера, подремлет одним глазом, выпьет рюмочку марсалы [2] или какого там вина, закусит галеткой и снова выскочит на мостик. «Идите, мол, Иван Иваныч, – это старшего офицера так звали, – а я, говорит, побуду наверху»... И опять, как следует по присяге и совести, смотрит за «Голубчиком», ровно добрая мать за больным дитей. Сам из лица бледный такой, глаза красные от недосыпки, однако виду бодрого... Нет-нет да и пошутит с вахтенным офицером... тоже, братцы, и командирская должность, прямо сказать, вроде быдто анафемской, а главное дело – отвечать за всех приходится. И за матросские души богу-то ответишь на том свете, ежели сплюховал и погубил их. В ком совесть есть, тот это и понимает, а в котором ежели нет и который матроса теснит, у того господь и разум отнимает во время штурмы... Оробеет вовсе, ровно не командир, а баба глупая... Ну, а в таком ра-

зе и все оробеют... А море, братцы, робких не почитает... Коли ты перед им струсил – тут тебе и покрышка!

Егорыч, вообще любивший пофилософствовать, на минуту замолчал и стал набивать свою трубочку. Закурив ее, он сделал две затяжки, не поморщившись от крепчайшей махорки, и, благосклонно протянув трубку молодому матросику, продолжал:

– Хорошо. Жарили мы, братцы, таким манером, с попутной штурмой, дня два и валяли узлов по одиннадцати, как на третий день, так утром, штурма сразу полегчала, и к полудню ветер вдруг стих, словно пропал, только волна все еще ходила, не улеглась... И стало, братцы, как-то душно на море, ровно дышать тягостно, повисли тучи совсем черные, закрыли солнышко, и среди белого дня темно стало... И наступила тишь кругом... А вдали, по краям, везде мгла... Мы, глупые молодые матросы, обрадовались было – не понимали, к чему дело-то клонит, думали – стихло, так и слава тебе господи, сейчас, мол, камбуз разведут, и мы похлебаем горячих щей; но только старики-матросы, видим, промеж себя толку-

ют что-то, а боцман наш смотрит кругом и только головой покачивает. «Не к добру, говорит, все это. Дело всерьез будет. Ураган, говорит, индийский идет... Подкрадывается, шельма, тишком, людей обманывает!» И тут же позвали его к старшему офицеру. Вестовой прибежал: «тую ж минуту иди, говорит». А капитан со старым штурманом, заместо того, чтобы отдохнуть в каюте, не сходят с мостика: все кругом в «бинки» (бинокли) смотрят, а то на компас да на вымпел на грот-мачте: есть ли, значит, ветер и откуда он... А ветру – ни-ни. Качает с боку на бок на зыби «Голубчик», и зарифленые марсея шлепают. Дышать еще труднее стало, словно давит сверху. Той минуткой прибежал на бак один мичман и говорит товарищу мичману, что подручным на вахте стоял: «Барометр, говорит, шибко падает, кажись, ураган будет. Только бы в центре урагана не попасть!» Приказали разводиться пары. И все офицеры высыпали наверх – на мглу на эту самую, что кругом, все так и смотрят. А вахтенный вскричал: «свистать всех наверх, стеньги спущать и паруса крепить!» Заорал и боцман, а все и без того

наверху. Скомандовал старший офицер, и полезли мы, братцы, по вантам, только держимся, потому – качка. Спустили стеньги, остались с одними кургузыми мачтами, закрепили марсели и поставили штормовые триселя и штормовую бизань – вот и всего. Тут и все поняли, что щей не будет, а готовимся мы к такой буре, какой не видывали. Приказано было осмотреть, хорошо ли закреплены орудия. Сам капитан осмотрел, спустился вниз, там все высмотрел и вернулся на мостик... Ничего, такой же бесстрашный. Совесть, значит, спокойная. «Приготовился, мол, а там, что бог даст!»

– Не приготовься вы вовремя – шабаш! – заметил подошедший боцман Андреев. – Один российский клипер так и пропал со всеми людьми в урагане... А купцов много пропадает в Индейском... Занозистый океан! – прибавил боцман и выругал его.

– То-то и есть, пропали бы и мы... Не дай бог попасть в ураган, – подтвердил Егорыч, – да сплеховать... Он тебя живо слопаёт...

– Что ж дальше-то? Рассказывай, Егорыч, – нетерпеливо проговорило сразу несколько

слушателей.

– Прошло так минут, примерно, с десять... Стоим это мы все на баке и ни гу-гу, молчим, потому всем жутко, – как вдруг мгла на нас все ближе и ближе, обхватила со всех сторон, и закрутил, братцы, такой страшный вихорь, что клипер наш ровно задрожал весь, заскрипел, и повалило его на бок и стало трепать, ровно щепу. А кругом – господи боже ты мой! – словно в котле вода кипит, только пена белая... Волны так и вздымаются и бьют друг о дружку. У меня, признаться, от страху мураши по спине забегали. Держусь это я за леер на наветренной стороне, у шкафута, гляжу, как волны по баку перекатываются, и думаю: «сейчас сгинем», и шепчу молитву. Однако вижу: «Голубчик» приподнялся, держится, только двух шлюпок нет, сорвало... А у штурвала, около рулевых, капитан в рупор кричит: «Держись крепче, ребята. Не робей, молодцы!» И от евойного голоса быдто страх немного отошел. А тут еще слышу: боцман наш ругается; ну, думаю, живы еще, значит... Мотало нас, трепало во все стороны – держится «Голубчик», только жалостно так скрипит,

быдто ему больно... И как же не больно, когда его волны изничтожить хотят?.. Капитан только рулевых подбодряет да нет-нет и на мачты взглянет... Гнутся, бедные, однако стоят... Так, братцы вы мои, крутило нас примерно с час времени... Ад крошечный да и только... Ветер так и воет, и вода вокруг шумит... Крестимся только... Как вдруг что-то треснуло быдто... Гляжу, а фок-мачта закачалась и с треском упала... Пошли мы ее освобождать, чтобы скорей за борт... ползем с опаской, чтобы не смыло волной, ноги в воде... Тут и старший офицер: «Живо, ребята, поторапливайся!» Ну, мачту спихнули, а марсовой Маркутин зазевался, и смыло его, – только и видели беднягу. Перекрестились и еще крепче держимся, кто за что попало... А вихорь сильнее закрутил, и стало, братцы вы мои, кидать клипер во все стороны, руля не стал слушать, а волны так и перекатываются по палубе; баркас, как перышко, унесло, рубка, что наверху, в щепки... Посмотрел я на нашего Алексея Алексеевича... Вижу, – как смерть бледный, только глаза огнем горят... И все офицеры бледные, и все смотрят на капитана... У всех,

видно, на уме одна дума: «смерть, мол, надо принять в окияне!» И у меня та же дума. И так, братцы, жутко и тошно на душе, что и не сказать! Вспомнилась, этто, своя деревня, ба-тюшка с матушкой, а господь умирать велит... А смерти не хочется! «Господи, говорю, помоги! Не дай нам погибнуть!» А около меня шканечный унтерцер Иванов, степенный и благочестивый такой старик, – он и вина не пил никогда, – перекрестился и говорит: «Надо вниз спуститься, чистые рубахи одеть, исполнить, говорит, христианскую матросскую правилу, чтобы на тот свет в чистом виде. А ты, говорит, матросик, – это он мне, – не плачь. Бог зовет, надо покориться». И так это он спокойно говорит, что пуще сердце мое надрывается.

– Господи, страсти какие! – вырвалось восклицание из груди молодого матросика, который – весь напряженное внимание – слушал Егорыча и, казалось, сам переживал перипетии морской драмы.

– Тут, братцы, налетела волна и подхватила меня. Господь помиловал – откинула меня на другую сторону и у пушки, на шканцах, за-

держала, и ребята помогли. «Молодцом, Егоров, держись!» – крикнул капитан. Держусь, мокрый весь, без шапки. А «Голубчика» опять валит на бок, больше да больше... Не встает... Подветренный бок совсем в воде... Вот-вот опрокинемся... Волос дыбом встал. «Право на борт!» не своим голосом крикнул капитан. «Руби грот-мачту!» Но тую ж минуту застучала машина... Клипер поднялся, и мачту не тронули... «Голубчик» послушливый стал. Привели в бейдевинд. Таким манером трепало нас до вечера, и томились мы, каждый секунд ждавши гибели. К вечеру вихорь этот анафемский стих, ураган самый понесся далее... Все вздохнули и благодарили господу... После офицеры сказывали, что ураган краешком захватил клипер – это, мол, так рассчитал командир, а попади мы, мол, к нему в середку, быть бы всем на дне. Наутро истрепанный, искалеченный «Голубчик», без фок-мачты, – вместо ее фальшивую поставили, – без шлюпок, без рубки, без бортов, шел под парами и парусами на ближний от нас Маврикий остров [3]... По бедняге Маркутину отслужили честь-честью панихиду, – капитан и все до

единого офицеры были, а после панихиды капитан велел собрать наверху всю команду и благодарил нас, матросов, и приказал выдать по лишней чарке. Всякому доброе слово сказал, похвалил, а спасибо-то надо было бы сказать ему, голубчику-то нашему... Он-то не оробел и управился...

– И долго вы чинились на этом самом Маврике? – спросил кто-то.

– Недели две стояли – поправлялись. Фок-мачту новую справили, шлюпки купили, такелаж вытянули, одно слово, все как следует, а затем айда на Яву-остров... Ну, погода свежая была, почитай всю дорогу зарифившись шли, но от урагана бог помиловал! – закончил Егорыч при общем молчании.

– Однако сейчас флагу подъем! – проговорил он и вышел из круга.

III

Минут за пять до восьми часов из своей каюты вышел командир корвета «Сокол», невысокого роста, плотный брюнет лет сорока, с мужественным и добрым лицом, весь в белом, с безукоризненно свежими отложными воротничками, открывавшими слегка загоревшую шею. С обычной приветливостью пожимая руки офицерам, собравшимся на шканцах к подъему флага, он поднялся на мостик, поздоровался с старшим офицером и вахтенным начальником, оглянул паруса, бросил взгляд на сиявшую во всем блеске палубу и, видимо довольный образцовым порядком своего корвета, осмотрел в бинокль горизонт и проговорил, обращаясь к старшему офицеру:

– Экая прелесть какая в тропиках, Степан Степаныч...

– Жарко только, Василий Федорович...

– Под тентом еще ничего... Кстати, какое сегодня у нас учение по расписанию?

– Артиллерийское, а после обеда стрельба из ружей в цель...

– Артиллерийское сделайте покороче... Так, четверть часа или двадцать минут – не более, чтоб не утомлялись люди... А когда последнего быка думаете бить?

– Завтра, Василий Федорович. Уж пять дней команда на консервах да на солонине, а завтра воскресенье.

– Как съедят быка, придется матросам на одних консервах сидеть, да и нам тоже, этак недельки две... Живность-то скоро съедем... А в Рио я, кажется, не зайду. Команда, слава богу, здорова – ни одного больного. Чего нам заходить, не правда ли?

Старший офицер, вообще редко съезжавший на берег, согласился, что не стоит заходить.

– Не беда и на консервах посидеть. В старину подолгу и на одной солонине сидели. Помню, я молодым офицером был, когда эскадра крейсировала в Балтийском море, так целый месяц кроме солонины – ничего... И сам адмирал нарочно ничего другого не ел... А придем на Мыс [4], опять возьмем быков и оттуда в Зондский пролив.

– На флаг! – скомандовал вахтенный офи-

цер.

Разговоры смолкли. На корвете воцарилась тишина.

Сигнальщик держал в руках минутную склянку. И лишь только песок пересыпался из одной половины в другую, как раздалась команда вахтенного начальника:

– Флаг поднять!

Все обнажили головы. На военном судне начинался день. Пробило восемь ударов, и новый вахтенный офицер взбежал на смену стоявшего с четырех часов утра. В то же время начальники отдельных частей: старший офицер, старший штурман, старший артиллерист, старший механик и доктор по очереди подходили к капитану рапортовать о состоянии своих частей. Разумеется, все было благополучно. Отрапортовав, все уходили вниз, в кают-компанию, где на столе шумел большой самовар и аппетитно глядели свежие булки, и масло, и лимон, и консервированные сливки. Рассевшись за столом, пили чай, шутили, смеялись, рассказывали о проведенных ночных вахтах. Кают-компания на «Соколе» подобралась дружная, и сразу чувствовалось, что

между всеми царит согласие, несмотря на то, что «Сокол» находился в переходе уже две недели, и отсутствие впечатлений извне могло невольно, при однообразии судовой жизни, сделать отношения неприятными, как часто бывает, когда люди, скученные вместе, надоедают друг другу. Но это еще было впереди. Пока еще каждый не был вполне изучен другим, рассказы и анекдоты еще не повторялись в нескольких изданиях, и скука плавания не заставляла отыскивать друг в друге несимпатичные черты, раздувать их и косяться друг на друга до первого порта, где новые впечатления снова вносили в кают-компанию оживление и шумные разговоры, и люди, на длинном переходе откапывающие в ближнем дурные стороны, снова делались добрыми, терпимыми товарищами. К тому же и библиотека еще не вся была прочитана, и – главное – не было в кают-компании интриганов, да и старший офицер, молчаливый Степан Степанович, как-то ловко и вовремя умел прекращать споры, принимавшие слишком страстный характер, особенно у молодых мичманов.

Все спрашивают, например, у старшего штурмана, каково суточное плавание. Довольно суровый на вид, но добряк в душе, штурман, низенький и маленький человек, совсем седой, несмотря на свои сорок пять лет, вначале отвечает терпеливо и благодушно, что «отмахали» сто сорок миль, но когда, после многократных ответов, только что вошедший в кают-компанию мичман Лучицкий опять спрашивает, штурман несколько сердится и отвечает с раздражением.

– Да вы не сердитесь, Иван Федорыч! – говорит мичман, и так добродушно говорит, и такая на лице его милая улыбка, что старший штурман тотчас же и сам улыбается.

Иван Федорович безукоризненный служака, один из тех штурманов старого времени, с которым, как в старину говорили, командир можно «спокойно спать»; он много плавал на своем веку и поседел уже давно, поседел в одну ужасную ночь, когда шкуна, на которой он служил, разбилась в бурунах в Охотском море, у Гижиги [5]. Из всей команды спаслось только двое матросов да он, и целые три дня они находились на голом острове, без пищи,

пока их не нашли рыбаки. Об этом крушении Иван Федорович неохотно вспоминает, особенно когда корвет на ходу, так как почтенный старший штурман несколько суеверен, как многие старые штурмана, и до сих пор никто из кают-компании не слышал еще от него подробностей об этой ужасной ночи и о трехдневном голодании.

По обыкновению, Иван Федорович торопливо допивает свой третий стакан, с папироской, и, окончив его, бежит с секстаном в руке брать высоты солнца и потом делать вычисления.

Чай отпит. Вестовые убрали со стола. Старший офицер снова наверху, где матросы разведены по работам. Старший штурман сидит и вычисляет. Многие взялись за книги. Один из мичманов сел за пианино и играет вальс Шопена. Доктор и артиллерист, оба глубоко-мысленные, погружены в шахматную игру...

А наверху большая часть подвахтенных матросов занята: кто плетет мат, кто чинит парус, кто учится бросать лот, кто скоблит шлюпку, забравшись в нее, кто что-нибудь стругает, помогая плотникам, словом, каж-

дый занят какой-нибудь легкой работой и каждый непременно, сидя в белой рубахе с расстегнутым воротом, напеваает про себя какую-нибудь песенку, напоминающую далекую родину. Общая любимица мартышка Дунька носится, как угорелая, по вантам, а Лайка, пес неизвестной породы, прибежавший еще в Кронштадте на корвет и оставленный матросами, давшими ему имя Лайки, безмятежно дремлет в тени, под пушкой.

Вахтенный офицер ходит взад и вперед по мостику, и нечего ему делать... И посматривает он на блестящую полосу океана, где, перелетая с места на место, сверкает на солнышке летучая рыбка. За кормой носятся альбатросы...

А солнце, палящее, ослепительное, поднимается все выше и выше, заливая светом маленький корвет, и мягкий пассат, раздувая его паруса, уносит моряков все дальше и дальше от родного Севера.

Мыс Доброй Надежды.

[^^^]

2

Марсала – сорт крепкого десертного виноградного вина.

[^^^]

3

Маврикий остров – остров в Индийском океане (неподалеку от острова Мадагаскара), в январе – марте в этом районе океана часты ураганные ветры.

[^^^]

4

...придем на Мыс... – речь идет о мысе Доброй Надежды, южной оконечности Африки.

[^^^]

5

...разбилась в бурунах... у Гижиги. – Гижигинская губа – часть залива Шелехова (северо-восточный берег Охотского моря); судоходство здесь затрудняется многочисленными мелями, льдами и высокими (до 10 метров) приливами.

[^^^]